

II

Нарративные реализации исповедального дискурса различаются, главным образом, в зависимости от того, насколько радикально слова направляются к сакральному центру или какие препятствия должен преодолеть главный герой. Совершенным признается лишь тот герой, который не только ускоряет созидательный труд социализма и заменяет спонтанность на сознательность, но также умеет раскрыть самого себя, понять самые глубокие чувства и мысли; только человек, который ни в какой мере не загадочен для себя и других, достигает вершины вочеловечивания.

Первый роман, в котором я хотела бы проанализировать ситуации исповеди, — «Далеко от Москвы» Василия Ажаева. В самом конце этой книги читатели находят призыв к коллективной исповеди. На последнем этапе постройки нефтепровода на Дальнем Востоке руководитель строительства призывает всех принять участие в подготовке отчета перед Москвой. Батманов требует — как «святую нашу обязанность»²³ — самоисследования каждого и письменного его изложения: «Отчитайтесь каждый за себя. Поймите: смысл не в формальном отчете... Представляется случай провериться со всех сторон, сделать анализ, обобщение: достойное ли место занимает в бою каждый из нас и все мы вместе..?»²⁴ В самом конце романа бьет не дальневосточная нефть, а фонтанируют исповеди соцреалистических героев. Роман завершается не потоком нефти, но имеет косвенный, как бы двойной финал: во-первых, от героев требуется коллективная исповедь, т. е. отчет перед «сверх-отцом» по имени Москва, а, во-вторых, читатель находит лишь предвосхищение завершения постройки — коллективную фантазию о том,

как когда-то в будущем будет бить нефть.

Сначала об исповеди. Батманов — настоящий соцреалистический герой и как бы пренатальный брат супермена Бэтмана, выступает с обширным докладом, требуя от всех личных отчетов об индивидуальных переживаниях и чувствах, которые были связаны с постройкой. То, что он говорит, могло бы быть заимствовано из католической учительной исповедальной книги: «Призовите на помощь и совесть вашу и разум»²⁵, советует он и рекомендует, как писать отчет («Пустая и корявая фраза... сказал бы просто: ...»²⁶). Он определяет, как не следует отчитываться и в чем самое важное: «и пропадет, товарищи, в этом словесно-цифровом скрежетании главное — душа людей»²⁷. Некоторые из сотрудников предпочитают устный отчет, что еще более напоминает исповеди: «Давай лучше поговорим, я все тебе передам живыми словами»²⁸, — просит один из сотрудников.

Соавтор отчета Гречкин сам нуждается в предварительной исповеди, чтобы очистить душу перед заданным предприятием: он рассказывает Алексею Ковшову о своих сомнениях относительно постройки. Ковшов слушает и объясняет ему, что все будет сделано вовремя. «— Ну, уговорил я тебя? — Уговорил, — ответил Гречкин и действительно приободрился, повеселел. У него манера: усомнившись в чем-нибудь, проверять свои сомнения на том, кому он верит»²⁹ — читателям понятно, что дело не в фактах и аргументации, но в вере; Ковшову удается вернуть сомневающемуся Гречкину веру в невозможное.

Дело именно в том, как написать отчет. Как можно передать самого себя? Этим вопросом в романе совершается авторефлексивный поворот. Ажаев как бы возвращается к дискурсу одного из своих персонажей: передать совокупность индивидуального опыта можно только с помощью фиктивных средств. В самом конце романа Алексей Ковшов вспоминает, «как однажды на проливе, в лихой январский буран»³⁰ еще на среднем этапе постройки Беридзе стал рассказывать о том, как когда-нибудь нефть будет бить, как огромный нефтепровод начнет работать. Он делал именно то, о чем мечтает теперь Ковшов, стремясь написать отчет для «Москвы»: «Только искусство с его волшебными средствами способно в музыке, в красках, художественным словом повторить ушедшие в прошлое яркие картины жизни... Где, в каких ведомостях отразились радости и горести, вложенные нами в нефтепровод?»³¹

В известной мере эти «художественные слова» нашел сам Ажаев, он совершил то, о чем один из инженеров на стройке иронически говорит лишь как о возможности: «Мучил, мучил себя, а все без толку. Скажи, пожалуйста, роман, что ли, должен я тебе принести?»³² Роман Ажаева представляет собой огромный отчет³³, фиктивную «аутентичную» исповедь перед Москвой и Кремлем, и он направляется именно к тому отцу, к которому и Ковшов собирается ехать: «Может быть, придется тебе выступать перед большими людьми. Перед очень большими людьми. Есть у меня такое предчувствие»³⁴. Отчет, исповедь как «святая наша обязанность» обращается к центру сакральной власти — сам Сталин послушает, что говорит соцреалистический герой.

Вопрос, достиг ли человек достоинств соцреалистического героя, решается в конечном итоге не в зависимости от его профессиональных способностей, а в зависимости от его готовности и умения участвовать в исповедальном ритуале. Только тот, кто может стать целиком прозрачным, получает отпущение грехов от самого Сталина. На первом экзамене Ковшов и его сотрудники — суверенные, трезво калькулирующие инженеры, которые делают возможным и невозможное. На втором экзамене они сталкиваются с границами внутри себя, они терпят фиаско при составлении отчета; взрослые сотрудники превращаются в беспомощных учеников. Ковшов также не справляется с задачей и беспокоится, думая о выступлении в Москве. Действительное подтверждение личности совершается не на поле работы, а перед лицом исповедального отца. Этот последний экзамен

еще раз демонстрирует иерархическую структуру романа: супер-герой Батманов не только умеет писать отчет, но и разъясняет другим значение этой способности. Он является настоящим соцреалистическим героем на последнем этапе своего развития. Ковшов находится еще на полпути; после того, как он, в начале своей работы на стройке, не раз просил разрешения уехать домой, он постепенно смиряется с новой ситуацией и развивается как будущий герой. Гречкин находится еще ниже; ему Ковшов помогает преодолеть сомнения.

Персонаж Ажаева обращается к инстанции, которая расположена вовне, в метонимической (служащей парафразой имени «Сталин») Москве. Фадеев, со своей стороны, показывает в романе «Молодая гвардия», как исповедальный ритуал продолжает функционировать и без такой инстанции, т. е. когда духовный отец пребывает внутри идеальных соцреалистических героев. Первое издание романа критиковалось за то, что значение партии представлено слишком мало. Оказывается, однако, что именно вследствие имманентного присутствия Сталин у Фадеева действует на героев в психологическом плане намного сильнее, чем у Ажаева: он находится везде, ни одного шага протагонисты не делают без него. Герои Фадеева не исповедуются Сталину или метонимическим его заместителям, но поступают все одновременно и как говорящие, и как слушающие в исповедальном ритуале и отпускают грехи друг другу или даже самим себе.

Любопытно при этом, что для героев Фадеева вопрос, что есть истина, не подвергается никакому сомнению. Традиция русских судебных романов, привилегированных контекстов для исповедей различного происхождения, уже никого не интересует: молодой Жора объясняет своему другу бессмысленность судебных дискуссий: «...быть... юристом — это сейчас не главное... все-таки глупо, например, быть защитником на нашем суде... например, помнишь, на процессе этих сволочей-вредителей? Я все время думаю про защитников. Вот глупое у них положение, а?». Ваня соглашается: «Ну, защитником у нас, конечно, не интересно, у нас суд народный»³⁵.

Однозначность истины определяет также отношение юных героев к самим себе. Они исповедуются во внутренних диалогах, поскольку во внеположной инстанции уже нет необходимости. Олег попадает в руки к немцам, когда ему только что исполнилось шестнадцать лет. Все же он «спокоен и суров, потому что он подводил черту под всей своей недолгой жизнью»³⁶. Допрос самого себя начинается с вопроса «В чем я могу упрекнуть себя?»; ответ на него таков: «Я не лгал, не искал легкого пути в жизни. Иногда был легкомыслен, — может быть, слаб от излишней доброты сердца ... Милый Олежка-дролетка! Это не такая большая вина в шестнадцать лет... Я не обману... доверия товарищей»³⁷. Разговор с самим собой кончается отпущением грехов: «Пусть моя смерть будет так же чиста, как моя жизнь, — не стыжусь сказать себе это... Ты умрешь достойно, Олежка-дролетка...»³⁸ Олег уже не нуждается в чем-то внешнем отпущении грехов, он является столь полноценным, совершенным воплощением соцреалистических достоинств, что исповедальный ритуал завершается как разговор с самим собой. Он представляет собой сакрального человека.

Исповедь как разговор между двумя партизанами показывает еще более ясно, в какой степени соцреалистическая исповедь наследует сакральному ритуалу. Матвей Костиевич Шульга и Андрей Валько тоже попадают в руки немцев и ждут казни. Шульга знает, что привело его в тюрьму его собственное недоверие: он два раза отказал в доверии бывшим партизанам и доверился предателю Игнату Фомичу. Эту свою вину он исповедует перед смертью Андрею Валько и получает от него отпущение. Рассказчик не допускает сомнения в том, что Шульга виноват³⁹, но все-таки он не лишает его свойств положительного героя. Шульга представляет собой одного из тех протагонистов, которые так тесно связаны с благом, что он, что бы то ни было, не может выпасть из области «хорошего» —

так, грешник, он становится не врагом, а трагическим героем. «Как все большие и чистые люди перед лицом смерти, (Шульга) видел теперь и себя, и всю свою жизнь с предельной, прозрачной ясностью, с необыкновенной силой правды... Да, он знал, что привело его в эту темную камеру, и мучился сознанием того, что он ничего уже не сможет поправить, даже объяснить людям, в чем он виноват, чтобы облегчить свою душу и чтобы люди не повторяли его ошибки»⁴⁰. Он рассказывает все начистоту («Андрей, — тихо сказал Шульга, — я еще не говорил тебе, как я сюда попал. Послухай меня...»⁴¹), и, понимая свою греховность, «едва не застонал от мучительного сожаления.., когда он рассказал все это вслух человеку.., не щадя себя»⁴². Валько точно знает, что дело сейчас в духовном утешении («Валько понимал, что Матвей Костиевич очищает душу свою перед смертью и нельзя теперь его уже ни укорять, ни оправдывать, и молча слушал его»⁴³) и грустно налагает епитимию («А теперь за то ты расплачиваешься жизнью»⁴⁴). Шульга отвечает эксплицитно в духе сакрального дискурса: «То правда, то святая правда, Андрей». Начиная с вопроса: «Ведь сам-то я кто такой?» — и Валько пускается в предсмертное самоисследование, и оба они вместе, несмотря на следствия физических пыток и страх перед смертью, восходят к состоянию совместной радости, даже торжественности, отпускают друг другу грехи. Они говорят «радостно», «с счастливым выражением лица», «с усмешкой», «возмущенно и восторженно» и «торжественно»⁴⁵ — и наконец-то Валько дает благословение себе самому и своему товарищу Шульге: «Дай же бог счастья нашим людям, что останутся после нас на земле! — тихо, торжественно сказал Валько. Так в свой предсмертный час исповедовались друг перед другом и перед своей совестью Андрей Валько и Матвей Шульга»⁴⁶.

Исповедь Валько и Шульги может служить примером того, как внутри соцреалистической культуры сакральное достигает такого усиления, что духовного отца уже и не требуется. Роман Фадеева не подвергает сомнению то, что социалистический герой находится «внутри», т. е. он получает отпущение грехов, потому что он всегда «добрый» — в то время, как тем, которые находятся «снаружи», недоступен даже ритуал исповеди. Дело в том, в каком именно смысле идеальный персонаж соцреалистических романов вообще в состоянии грешить⁴⁷. Даже грешный Матвей Шульга, конечно, не выходит за границы «достойной жизни». Все эти герои находятся внутри отпускающего грехи сакрального общества. Способность к исповеди является признаком того, кто является спасенным в социалистическом смысле; он живет в скобках социалистической эсхатологии. Что будет в случае действительного нарушения заветов — это уже другой вопрос.

В исследованиях о литературе соцреализма неоднократно указывалось на сходство между биографическими жанрами в тоталитарной культуре и агиографической литературой. Ханс Гюнтер и Катерина Кларк отмечали, что это касается, в частности, романа-автобиографии Островского «Как закалялась сталь»⁴⁸. Павел Корчагин представляет собой как бы аскетического мученика, он преодолевает самого себя ради идеи (он целеустремленнее, чем его духовный брат Рахметов, — даже перестает курить). Чем «редуцированнее» Павел (слепота, паралич), тем ярче его идея.

Биография Павла начинается с отказа от «ложной» исповеди. Его развитие, как рисует его Островский, ведет от эмансипации, от ложных требований церкви к самоответственности субъекта. Поп, учитель религии в школе, допрашивает школьников по поводу того, кто насыпал махорку в пасхальное тесто. Хотя Павел виноват, он отказывается от признания — поп не тот человек, который мог бы предъявлять ему требования. Поп начинает ругаться, когда Павел спрашивает в свободном от предрассудков любопытстве, почему несовместимы религиозное и научное объяснения возникновения земли. Попытка попа восстановить авторитет религии с помощью палки заканчивается неудачей: Павла изгоняют из школы, и он начинает саморазвитие социалистического героя подсобным рабочим на кухне.

Но отказ от исповеди касается только требования со стороны «чужого»; сам же Павел после мучительной жизни подвергает себя еще более строгому допросу. «Все ли сделал ты, чтобы... сделать свою жизнь полезной?» — спрашивает он себя и отвечает: «Да, кажется, все!»⁴⁹ Однако, достиг ли он цели своей жизни, т. е. смог ли он стать идеальной социалистической личностью — ответ на этот вопрос зависит не от Павла, а от приговора «Ленинграда», т. е. от партии. Становление личности приводит к ее автономии в довольно условном смысле. «Я» полностью зависит от подтверждения сакрального центра, который находится вовне: «С каждым днем предчувствие поражения усиливалось, и Корчагин сознался себе, что безоговорочный отвод книги будет его гибелью. Тогда больше нельзя жить. Нечем»⁵⁰.

Логика романа предлагает понять ссору между Павлом и попом как парадигматическое преодоление религиозной картины мира в пользу просвещенно-рационалистической. Павел перестает видеть в попе авторитет только потому, что тот — представитель веры. Переориентация касается таких понятий как истина, идентичность, которые получают другое значение в новом миропонимании Павла. Островский внушает читателям, что развитие Павла — процесс самоочищения, в ходе которого автономный самоопределяющийся субъект преодолевает гетерономное определение церкви.

Религиозное, однако, не отменяется, а сдвигается. Павел не прощается с религиозной парадигмой, а переименовывает ее. Он получает всю свою силу от идеи, которая дает смысл всей его жизни. Павел использует (почти в буквальном смысле) именно тот механизм самоунижающего самовозвышения, о котором говорит Робинсон. Герой по ходу своей жизни все более «редуцируется», становясь все меньше (слепота, паралич), но чем меньше он становится, тем ярче его облик учителя и духовного отца. Уже брак с Таей является бестелесным, чисто педагогическим отношением. Его плодородие духовное, у него нет детей, есть ученики. Павел продолжает судьбу соцреалистических, телесно поврежденных героев: чем выше препятствия, которые должен преодолеть герой и в которых он должен преодолеть самого себя, тем выше истина, олицетворяемая им⁵¹.

Как и Островский, Павел придерживается мнения, что смысл его собственной жизни представляет собой работу для всеобщей идеи, и быть парализованным тому не препятствие: «Да, товарищи, работать можно в самых тяжелых и отвратительных условиях. Не только можно, но и нужно, если нет иной обстановки»⁵². Островский, как и Павел, был в последние годы своей жизни (почти десять лет, с 1927 по 1936 год) полностью парализован и стал терять зрение. Если видеть в романе Островского более или менее обработанный фиктивными средствами автобиографический документ, то он представляет собой еще более последовательно, чем у Ажаева, личный отчет перед Сталиным. Павел и Островский существуют как личности только тогда, когда они исповедуются и когда их исповедь принимается партией: *confiteor ergo sum* — исповедуюсь, значит существую.

Таким образом, самое важное в соцреалистической исповеди — это не признание в грехах, а, во-первых, связанное с исповедальным дискурсом требование полной прозрачности человека, и, во-вторых, тот факт, что исповедь подразумевает признание авторитетной инстанции, от которой зависит не только собственное душевное спокойствие, но и жизнь как таковая. В отличие от петровской эпохи, тоталитарная культура смогла снять двойную обязанность, с которой должны были бороться верующие при Петре (страдать либо от сакральных, либо от мирских авторитетов), поскольку Сталин соединил в себе и сакральную, и секулярную власть. Говорить надо только в одном направлении — Сталину. Одновременно требование прозрачности не ограничивается грехами, но распространяется на всю жизнь. В этом смысле исповедь представляет собой надежный инструмент инфантилизации подданных. Человек, как гетерономное существо, становится ребенком перед единственным, всемогущим и «святым» отцом.